

Николай Карамзин

Лиодор



*Часть сборника
Бедная Лиза (сборник)*



Николай Михайлович Карамзин

Лиодор

«Уже холодные ветры навеяли бледность и мрак на печальную Природу, когда Агатон, Изидор и я поехали в деревню – наслаждаться меланхолическою осенью.

Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной, – никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи – внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, – чувствовали трепет в сердцах своих и с красноречивым молчанием друг друга обнимали...»

Николай Карамзин

Лиодор

Уже холодные ветры навяли бледность и мрак на печальную Природу, когда Агтон, Изидор и я поехали в деревню – наслаждаться меланхолическою осенью.

Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной, – никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи – внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, – чувствовали трепет в сердцах своих и с красноречивым молчанием друг друга обнимали. Счастливы, кто имеет нежную душу – душу, которая замечает все движения Природы и вместе с нею изменяется в чувствах своих – цветет и увядает вместе с нею! Все, что представляется глазам его в пространной области творения, размножает его бытие и бывает для него предметом наслаждения; всякая слеза, им проливаемая, рождает ему новую радость, иногда тайную, неизъяснимую, но тем глубже чувствуемую и тем блаженнейшую радость. Но еще стократно счастливее сей смертный, когда найдет он подобного себе человека, которого

душа есть также чистое зеркало Природы. С чем можно сравнить быстроту того движения, с которым они, при первом взоре, бросаются обнять друг друга, и в глазах Неба заключить навеки священный союз дружества, союз твердейший основания земли? Кто опишет то несравненное удовольствие, с которым они сообщают друг другу свои симпатические чувства – иногда безмолвно – одним взором – одним пожатием руки? Милосердное Небо!.. в сию минуту катятся слезы мои на бумагу – слезы скорби – ах, нет! – слезы умиления, благодарности! Хотя вы, мои любезные – нежный Агатон, Изидор чувствительный! – сокрылись от глаз моих, подобно как восхитительные мечты летней ночи на заре исчезают; но в сердце моем остался цветущий ваш образ – и часто, в веянии ветерка, несущегося от могилы вашей, слышу я голос, утешительный и любезный; одна тонкая завеса разлучает нас; скоро и она подыметя!.. Прости мне, милая Аглая! я возобновляю твою горесть; но ты сама велела мне говорить о друзьях наших; могли ли слезы удержаться в глазах моих?

Более месяца прожили мы в деревне, и никто из нас не чувствовал скуки. Часто бурные ветры потрясали окончины в ветхом домике нашем и печально выли в трубе камина, перед которым мы по вечерам сиживали; часто поля покрывались снегом, но мы все еще в полях гуляли, не страшась ни вьюг, ни метелей. Наслаждаясь Натурою и дружеством, сердца наши не чувствовали в себе никакой пустоты, и потому мы не искали знакомства с соседними дворянами, которое могло бы прервать течение приятных минут наших и быть нам в тягость; но Судьба хотела нас познакомить с одним из них – и память его пребудет для меня всегда священной!

Однажды поутру шум ветра пробудил меня ранее обыкновенного. Друзья мои спали еще крепким сном. Я взял трость свою – ту самую, любезная Аглая, которую некогда ты мне подарила и которая была мне верным товарищем во всех дальних моих путешествиях, – и пошел в рощу, которая примыкала к нашему саду. Вообрази мое удивление, когда я под иссохшими ветвями высокого дуба увидел стоящего молодого человека в черном

фраке, совсем мне незнакомого и притом такого, каких не много встречалось глазам моим в свете! Прекрасное, умное лицо – большие черные, огненные глаза, светлое зеркало великой души, – открытый, высокий лоб, с тремя или четырьмя ровными, углубленными чертами, которые показывали опытность и претерпенные печали, – бледные щеки, с самою тонкою розовою оттенкою – и еще нечто такое, чего описать невозможно, но что всего сильнее действует на сердце, – одним словом, любезная Аглая, представь себе второго Изидора, когда ему было двадцать семь лет от роду и когда ты увидела его, после тяжелой сердечной болезни, стоящего в аллее Д***го саду.

Облокотясь на сук дерева, он казался углубленным в самого себя; северный ветер развеивал его русые, ненапудренные волосы; круглая шляпа и белый платок лежали у ног его. Около трех минут я рассматривал его, не будучи им примечен; наконец он поднял голову, взглянул на меня – и отступил шаг назад. Я снял шляпу и, сказав *радуясь доброй встрече*, протянул ему руку. Может быть, вид и голос мой показали ему искренность

моего сердца: по крайней мере, он встретил руку мою на половине пути и пожал ее с улыбкою дружелюбия. «Извините меня, – продолжал я, – если приход мой вывел вас из приятной задумчивости; но хозяин спешил встретить любезного гостя». – «Я ваш гость! – сказал он таким голосом, который был в совершенной гармонии с его лицом и показал мне новую красоту в душе его. – Итак, я стою на вашей земле?» – «Здесь в роще покоится прах моего деда». – «Простите же незнакомого, который приближался к этому освященному месту без вашего позволения». – «Он мне знаком, потому что я смотрю на него». – «Итак, вы верите физиогномике?» – «Верю Натуре и своему сердцу». – «Ах! и я верю им!» – Тут он обнял меня – и жар его объятия дал мне чувствовать нежность его сердца. «Но скажите мне, – продолжал он, держа меня за обе руки и смотря мне в глаза, – скажите, кто вы?» В немногих словах удовлетворил я любопытству его; после чего незнакомец мой сказал мне, что он помещик соседней нашей деревни, в которую недавно приехал и в которой со дня приезда живет

уединенно; что он любит ходить пешком и, увидев нашу рощу, зашел в нее, не зная, кому она принадлежит, и не зная вообще никого из соседей своих. «Теперь вы узнаете по крайней мере троих, – сказал я, – и притом таких, которые постараются усладить ваше уединение, не лишая вас ни одной из приятностей его. Пойдемте; в десяти шагах отсюда под смиренную кровлю маленького домика найдете вы еще два сердца, которые могут вам сочувствовать». – «Итак, вас трое? – сказал Лиодор, – но этого слишком много для одного дня; или судьба награждает меня за долгое терпение». – Он поднял шляпу свою; мы взялись за руки и через сад пришли в дом. Изидор и Агатон с удивлением посмотрели на прекрасного незнакомца, идущего к ним с распростертыми объятиями. «Это наш сосед, друзья мои! – сказал я, – он достоин любви вашей». – Они обняли и – полюбили друг друга.

Лиодор рассказал нам, что он вырос в чужих краях, много путешествовал и только за два месяца перед тем возвратился в Россию; что, прожив несколько недель в Москве,

удалился он в деревню, которая была бы для него очень приятна, если бы иногда не чувствовал он нужды сообщать мысли свои подобному себе человеку. «Когда бы я знал, – примолвил он с улыбкою, – что у меня такие соседи! Но как было мне искать вас в таком отдалении от столицы, за дремучими лесами, на краю Европы и в то время, когда осенние бури выгоняют жителей из самых подмосковных деревень? Вы, право, чудные люди, государи мои!» – Напротив того, мы также называли его чудным человеком, смеялись и с чувством сердечного удовольствия пожимали друг у друга руки.

Забыв время, он пробыл с нами до полуночи, согласился у нас ночевать, и на другой день поутру пошли мы вместе в его деревню, которая была в четырех верстах от нашей. Там, на высоком берегу реки Ревы, стоял большой деревянный дом, построенный в начале текущего столетия и весьма близкий к своему конечному разрушению; мох, трава и самые деревья росли на его гниющей кровле, под свесом которой гнездились тысячи голубей, галок и других птиц, составлявших кри-

ком своим всегдашний дикий концерт, и на которой, подобно башням, торчало, по крайней мере, двадцать слуховых окошек; он обведен был рвами, некогда глубокими, но временем отчасти заглаженными, — тут жил Лиодор с камердинером французом и тремя слугами. Комнаты были одна другой меньше и темнее; везде свистал ветер, хлопали двери, стучали окончины (по большей части перебитые), и тряслись доски, по которым мы шли. Хозяин выбрал для своего кабинета самую верхнюю комнату, которая в свое время называлась *теремом* или *светлицею*. В сих теремах, любезная Аглая, сиживали в старину красные девицы, подгорюнившись, смотрели в поле чистое, ждали милых своему сердцу и, не видя их идущих, проливали слезы горючие из ясных очей своих; вздохи тяжкие, сердечные, колебали грудь их белую.

Француз принес нам кофе и, дую себе на руки, окостеневшие от холода, проклинал жестокий наш климат; а мы разговаривали о тех временах, когда русские дворяне, послужив верою и правдою, послужив Богу, царю

и отечеству, возвращались в свои поместья, жили в деревенских замках своих как маленькие царики, гуляли с своими соседями, и в те веселые минуты, когда Оссианская *чаша радости* вокруг ходила, рассказывали друг другу свои славные подвиги и показывали раны, полученные ими в служении отечеству. Лиодор согласно с нами утверждал, что тогда было в дворянах наших более духа, более характерной *твердости*, нежели ныне, когда мы, погнавшись за блестящею *наружностью* других наций, оставили все то, чем Бог и Natura хотели отличить нас от других народов земли, оставили, *забыли самих себя* и сделались во всем *учениками*[1], не будучи мастерами ни в чем.

С сего времени мы были всякий день вместе с Лиодором, вместе обедали, вместе ходили и вместе проводили вечера, рассуждая о разных важных предметах, сообщая друг другу примечания, сделанные нами в путешествиях, и взаимно объясняя наши мысли. – Давно уже расстался я с Лиодором – моря разделяют нас, – но я еще и теперь вижу его перед собою и слышу голос его. Ах, милая Аглая!

как любезен казался он нам в каждом взоре, в каждом слове и в каждом своем движении! Все, все показывало в нем кроткую душу, любовь и чувствительность. Все было отменно приятно в устах его, даже и тогда, когда говорил он о вещах самых обыкновенных; потому что слова его изливались всегда из сердца и, будучи, так сказать, согреваемы внутренним огнем души, трогали слушателей и воспаляли воображение самых холодных людей. Но Лиодор не только говорить умел – он умел еще *слушать*, так что всякий любил ему рассказывать, открывать свою душу, и всякий говорил с ним лучше и красноречивее, нежели с кем-нибудь. Вид его, взоры, улыбка, слеза имели сию удивительную силу, отвечая совершенно мыслям и чувствам рассуждающего или повествующего. Всякий видел, что Лиодор понимал его даже и тогда, когда дело шло о тонкостях Кантовой метафизики; всякое нежное сердце находило в нем брата сочувственника, и всякий – любил Лиодора.

Около месяца жили мы таким образом. Почтенный мой знакомец Лафатер говорит, что, пробыв с человеком два дни от утра до вече-

ра, проницательный наблюдатель успеет осмотреть все ущелины его сердца. Я думаю, что Лафатер прав и что человек никаким притворством не может скрыть своей внутренней от острых глаз (какими Натура, правда, не всех одаряет). По крайней мере, Лиодор против воли своей показал нам, что таилось в его душе, и мы скоро заметили, что, несмотря на его приятные улыбки, несмотря на веселый тон его обхождения, мрачная меланхолия глубоко в нем вкоренилась. Редко румянец показывался на щеках его, пробиваясь сквозь их бледность; часто природная светлость глаз его скрывалась в какой-то черной туче, и вдруг печальная ночь распространялась по лицу его, на котором за минуту перед тем сиял веселый полдень; часто после шуточного разговора он забывался, складывал руки, поднимал глаза на небо, и нечто подобное слезам блистало в глазах его; опомнившись, он улыбался и между тем старался вспомнить, о чем говорено было. Мы не хотели быть нескромными и боялись оскорбить его изъявлением нашего сожаления (сколь оно ни было искренно), на-

деясь, что со временем он сам откроет нам свою душу. Ожидание нас не обмануло. Пришедши к нему однажды поутру, нашли мы его лежащего на постеле и со слезами целующего маленький портрет, висевший у него на шее. Увидев нас, хотел он его спрятать; но вдруг одумался, снова посмотрел на него, показал нам и с печальною улыбкою спросил: *хороша ли она?* Мы увидели изображение приятной, миловидной женщины и отвечали ему, что она прекрасна. «Была, – сказал он, – была! Ее уже нет на свете!» Тут Лиодор обоими руками прижал портрет к груди своей и хотел, казалось, остановить тем вздохи, сившиеся из нее вылететь. «Друзья мои! – продолжал он, видя, что мы тронулись, – друзья мои! я ввожу вас в святилище моего сердца!.. Знайте, что я любил, и так, как только один раз в жизни любить можно. Но Судьба лишила меня той женщины, которая была мне всего дороже, и сердце мое облеклось в вечный траур. Так, друзья мои! болезнь моя неизлечима, и самая дружба ваша может только на время облегчить ее. Я читаю огорчение в глазах ваших, простите мне!» –

Мы обнимали его, и слезы катились из глаз наших. Наконец он спрятал портрет, встал, оделся, вышел с нами из дому, сел на высоком берегу шумящей Ревы и сказал нам: «Здесь выслушайте мою историю, которая до теперешней минуты была вам только отчасти известна». — Мы сели вокруг его, и Лиодор, собравшись с мыслями, начал говорить.

«Мне было еще не более двенадцати лет, когда отец мой послал меня в Лейпцигский университет. Там душа моя получила первые систематические понятия о вещах, окружающих нас, и о самой себе; там научился я чувствовать и давать себе отчет в чувствах своих; там ученейшие мужи Германии образовали мой разум; там под руководством их вступил я в пространную область наук, обозрел магазины знаний человеческих, собранных в течение веков, и присвоил себе опыты времен прошедших; там душа моя возрастала вместе с моим телом, и чувство сего возрастания радовало меня несказанно. Сердце мое было спокойно, ученье меня веселило, часы отдохновения имели свои приятности — счастливое время!

Я прожил там уже около семи лет, когда получил печальное известие о смерти отца моего. Она меня тронула, огорчила, однако же не так сильно, как бы смерть хорошего отца должнаствовала огорчить чувствительного сына. Причиною того была долговременная разлука наша, которая в юном сердце моем ослабила чувства сыновней нежности, загладив в памяти моей образ ее предмета. Если вы, друзья мои, будете когда-нибудь отцами и захотите, чтобы дети любили вас нежно, и если до того времени не переменится свойство сердца человеческого, то воспитывайте их при себе и не расставайтесь с ними надолго! Но письмо, которое через несколько месяцев после того получил я от матери моей, меня очень растрогало. Оно дышало любовью. Каждая строка, каждое слово проницало до сердца. Печальная супруга ожидала утешения от сына, который остался в свете единственным ее сокровищем. Она звала его в свои осиротевшие объятия, но более просила, нежели требовала. «Обрадуй своим присутствием горестное мое уединение (писала она); возврати мне сына, моего любезного,

дражайшего сына, которому теперь единственно посвящено мое сердце; услади остаток дней моих, и милосердый Бог наградит тебя за то в течение твоей жизни. Если же привязанность тебя к учению не позволит тебе так скоро оставить Лейпцига, то, по крайней мере, отпиши ко мне, когда – когда нежная мать твоя может насладиться последним счастьем в своей жизни, счастьем обнять тебя, милого своего друга, плакать и рыдать от радости, смотреть на тебя и не насмотреться. Но если Богу угодно будет прекратить дни мои до твоего возвращения, то будь уверен, что предметом последней мысли моей, последнего чувства, последней слезы и последнего вздоха был ты, любимец души моей!» – Я омочил бумагу сердечными слезами, простился с моими учителями и с каким-то печальным предчувствием поехал в свое отечество, которое сделалось для меня совсем чуждо и в котором не было для меня ничего драгоценного, кроме моей родительницы. Она жила в деревне близ Казани; я спешил туда – летел на двор, на крыльцо, в комнаты – и люди в черном платье меня встретили. Я за-

трепетал – предчувствие меня не обмануло – за три дни перед тем опустили гроб ее в землю!.. Вот первый удар Судьбы, который отозвался глубоко в моем сердце! Чувства меня оставили. Пришедши в память, я велел вести себя к ее могиле. Там-то, друзья мои, там-то почувствовал я, что у меня была мать и что я лишился ее! Холодная земля согрелась от слез моих – и несколько дней кряду, дней тоски и печали, находил я единственное утешение в том, чтобы рыдать над ее гробом. Мысль, что я мог бы приехать к ней еще задолго до ее смерти – мог бы показать ей всю любовь свою, всю сыновнюю нежность и тем осчастливить конец ее, – мучила меня ужасно. Ах! при смерти своей (думал я) не имела она утешения видеть, что у нее есть чувствительный сын! Тысячу раз упал я на колени и молил Бога, чтобы он позволил ей из тьмы духовного мира обратить взор свой в мир, оставленный ею, и видеть чувства моего сердца!

Наконец волнение скорби во мне утихло; но кончина моей матери покрыла для меня мраком все мое отечество, и мне казалось, что в пределах его нет для меня ни радости,

ни веселия. Выронив последнюю слезу на гробе родительницы, на гробе отца моего, спешил я выехать из России и решился искать утешения в той земле, которой столица почиталась издавна столицею забав и удовольствий. Я приехал в Париж с деньгами и с хорошими рекомендациями; был ласково принят в разных домах; увидел великолепные зрелища всякого рода; пленялись глаза мои, пленялся слух мой; все призывало меня к утехам, к наслаждению; любовь моя к наукам и к художествам везде находила себе пищу; ученые, артисты меня ласкали, наставляли; я восхищался общим тоном учтивости и полюбил приветливых и благородных французов. Вы сами путешествовали, друзья мои, и видели много земель и много наций; скажите, какой народ умеет так обласкать, так одолжить иностранца, как французы? (Мы согласились с Лиодором, и он продолжал свою повесть.)

Около трех лет прожил я в Париже безвыездно, и время сие прошло, как приятный сон. Наконец душа моя потребовала переменны в удовольствиях; охота к путешествиям

во мне пробудилась, и я поехал в Гишпанию, в сие отечество романов, которое всегда представлялось моему воображению в привлекательном виде. Там нашел я прекрасную землю, прекрасный климат; там, палимый лучом солнечным, погружался я в прозрачные струи тихой Гвадианы и наслаждался всеми приятностями прохлады; там отдыхал я в пальмовых рощах и не завидовал никакой восточной роскоши. Но бедность, невежество и суеверие жителей; множество тунеядцев, которым дано право жить трудами других людей и которые стараются погашать в народе всякую искру просвещения для того, чтобы более пользоваться его терпением; необработанность земли, опустевшие города и деревни; некоторое уныние, некоторое усыпление, видимое во всей нации, – все это производило во мне неприятные чувства, и я вздыхал о бедных гишпанцах, нищих среди богатства и печальных в объятиях веселой Природы. – Оттуда возвратился я во Францию и приехал в Марсель. Тут, любезные друзья мои, узнал я все счастье, к которому Натура сотворила меня способным, – узнал, наслаждался им и по-

том лишился его навеки.

Марсель мне так полюбилась, что я решил-ся прожить в ней несколько месяцев. Вы знаете этот город, средоточие восточного торгу; знаете славную его пристань, наполненную кораблями разных наций; знаете прекрасные его окрестности, плодоносные долины и холмы, украшенные цветущими садами и сельскими домиками или бастидами. Я познакомился с лучшими домами и проводил время свое или в приятных обществах, или в приятных уединенных прогулках.

В один прекрасный вечер отошел я от города далее обыкновенного; солнце, сиявшее на чистом небе, закатилось за зеленые пригорки и скрылось от глаз моих; луна явилась в серебряной своей ризе и тихо возвышалась на голубом своде; блестящие звезды, подобно свечкам, засветились и засверкали вокруг ее; западный ветерок разносил всюду благово-ние цветов, которыми усыпаны поля и луга Прованские. Я лежал на вершине холма и смотрел на зыби Средиземного моря, которое минута от минуты темнело в глазах моих. Наступила ночь, самая тихая и приятная, та-

кая, какую только в южных землях Европы наслаждаться можно. Город вдали осветился многочисленными огнями и вместе с окружающими деревеньками и бастидами представлял глазам моим нечто волшебное. Воображение мое мечтало; наконец я забыл все окружавшее меня и погрузился в некоторое восхитительное усыпление. Но вдруг нежный, гармонический голос, соединенный с тихими звуками гитары, в веянии ветерка прикоснулся к моему слуху и приятным образом возбудил душу мою к чувствуванию внешних впечатлений. Я начал слушать – ветерок нес его от стены одного сада. Я пошел туда – приблизился к самой стене – приложил ухо к отверстию, в ней бывшему, и услышал слова следующей Киабреровой песни[2]:

*La Violetta
Che in full'erbetta
Aprè at mattin novella,
Di, noa e cofa*

*Tutta adorofa,
Tutta leggiadra e bella?*

Si certamente,

*Che dolcemente
Ella ne fpira odori;
E n'empie il petto
Di bel di letto
Col bel de' fuoi eolori?*

*Vaga roffeggia,
Vaga biancheggia
Tra l'aure mattutine;
Pregio d'Aprile
Via piu gentite –
Ma che divine al fine?
Ahi, che in brev'ora,
Come l' Aurora,
Lunge da moi fen vola
Ecco languire,
Ecco pirire
La mifera Viola.*

Никогда еще, любезные друзья мои, никогда не чувствовал я от пения такого удовольствия, какое тогда почувствовал; голос (он был женский) сливался с тонами струн, пролился мне прямо в сердце и разливал неопи-санную сладость по всем его фибрам; грудь моя томилась в нежных чувствах; я таял в восторгах, и слезы струились из глаз моих. Вдруг пение умолкло; я все слушал, но тщет-

но! везде царствовало глубокое молчание. Мне захотелось видеть небесную певицу – сердце мое говорило, что она прекрасна: кто же не верит сердцу? Я смотрел в отверстие, но не видел ничего, кроме зелени и мрака. Любопытство меня мучило; я пошел подле стены и, к приятному моему удивлению, нашел садовую дверь, до половины растворенную. Вы сами догадаетесь, что я не усомнился войти в сад, хотя весьма бережно – беспрестанно осматриваясь вокруг, перекрадываясь из аллеи в аллею и боясь ступить на траву всею ногою, чтобы не сделать шуму и не испугать моей певицы. Но долго искал ее тщетно и начал уже думать, что она ушла из сада, как вдруг сквозь ряд деревьев увидел на берегу чистого бассейна сидящую молодую турчанку. Вы видели ее изображение, друзья мои; но оно не представляет ни тысячной доли ее прелестей. Если бы вы тогда на нее взглянули, как она на дерновом канаве сидела, устремив блестящие черные глаза свои на светлый месяц, который с высоты лобызал ее своими лучами и освещал снежную белизну лица ее, алые щеки, алые губы, подобные

розе, к которой ни дыхание бури, ни рука смертного не прикасалась! Если бы вы, по крайней мере, взглянули на зыблющийся образ ее в кристальной воде бассейна, образ, которым, казалось, и самые струи любовались! Без того вам трудно иметь понятие о чувствах, с какими я рассматривал незнакомую красавицу, стоя неподвижно под ветвями деревьев и страшась дыханием своим пошевелить на них листочек, чтобы не прервать священного молчания, которое вокруг ее все предметы соблюдали. Наконец она встала – прелестный рост, прелестный стан! – посмотрела вокруг себя, сняла с головы своей белую кисейную чалму, на которой блистал крупный восточный жемчуг, – черные волосы ее покатались по плечам и упали почти до самой земли. Потом расстегнула она верхнее свое платье, скинула его – трепет разлился по моим жилам – я увидел грудь белее Паросского мрамора, подобную полному месяцу, грудь, которая могла бы служить моделью Фидиасу, когда он образовал Медицейскую Венеру. Тут мрак покрыл глаза мои – я не видел более ничего, и через несколько минут,

как будто бы сквозь приятный сон, услышал в бассейне тихое плесканье. Ночь была теплая – прекрасная турчанка освежалась в прохладном кристалле.

Но скоро упоение, чувств моих прервалось от сильного лая; я вздрогнул и увидел подле себя маленькую собачку, которая со всех сторон на меня бросалась, хватала за полу и подавала госпоже своей громкую весть о близости чужого человека. Признаюсь, что я испугался и не знал, что делать; наконец, опомнившись, побежал к дверям, к счастью, скоро сыскал их и вышел из саду. Часы мои показывали полночь; я возвратился в город и в великом утомлении бросился на постелю...

Сноски

И в самой литературе. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

2

Не прекрасна ли фиалка, // Не прельщает ли
собой? // Не амброзией ли дышит, // Утром
расцветя весной? // То алеет, то белеет //
Сей цветочек в красный день; // Сладкий дух
свой изливает // Кроясь в травке под кустом. //
Что же с нежною фиалкой, // Что же будет на-
конец? // Ах! несчастная томится, // Сохнет, ис-
чезает вдруг. // *(Перевод автора.)*

[^^^]